Жизнь господина де Мольера

Автор:
Михаил Булгаков

Жизнь господина де Мольера

Михаил Афанасьевич Булгаков

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) – один из самых ярких и талантливых писателей XX века. Тем не менее практически все, что он писал, подвергалось резкой критике, отменялись постановки пьес, запрещались публикации – значительная часть произведений вышла в свет только через несколько лет после его смерти.

Роман-биография «Жизнь господина де Мольера» повествует о жизни и перипетиях судьбы великого французского драматурга-комедиографа Жана-Батиста Мольера.

Михаил Булгаков

Жизнь господина де Мольера

Пролог

Я разговариваю с акушеркой

Что помешает мне, смеясь, говорить правду?

Гораций

Молиер был славный писатель французских комедий в царство Лудовика XIV.

Антиох Кантемир

Некая акушерка, обучившаяся своему искусству в родовспомогательном Доме божьем в Париже под руководством знаменитой Луизы Буржуа, приняла 13 января 1622 года у милейшей госпожи Поклен, урожденной Крессе, первого ребенка, недоношенного младенца мужеского пола.

С уверенностью могу сказать, что, если бы мне удалось объяснить почтенной повитухе, кого именно она принимает, возможно, что от волнения она причинила бы какой-нибудь вред младенцу, а с тем вместе и Франции.

И вот: на мне кафтан с громадными карманами, а в руке моей не стальное, а гусиное перо.

Передо мной горят восковые свечи, и мозг мой воспален.

– Сударыня, – говорю я, – осторожнее поворачивайте младенца, не забудьте, что он рожден ранее срока. Смерть этого младенца означала бы тяжелейшую утрату для вашей страны!

– Мой Бог! Госпожа Поклен родит другого!

– Госпожа Поклен никогда более не родит такого, и никакая другая госпожа в течение нескольких столетий такого не родит.

– Вы меня изумляете, сударь!

– Я и сам изумлен. Поймите, что по прошествии трех веков, в далекой стране, я буду вспоминать о вас только потому, что вы сына господина Поклена держали в руках.

– Я держала в руках и более знатных младенцев.

– Что понимаете вы под словом – знатный? Этот младенец станет более известен, чем ныне царствующий король ваш Людовик XIII, он станет более знаменит, чем следующий король, а этого короля, сударыня, назовут Людовик Великий или король-солнце! Добрая госпожа, есть далекая страна, вы не знаете ее, это – Московия. Населена она людьми, говорящими на странном для вашего уха языке. И в эту страну вскоре проникнут слова того, кого вы сейчас принимаете. Некий поляк, шут царя Петра Первого, уже не с вашего, а с немецкого языка переведет их на варварский язык.

Шут, прозванный Королем Самоедским, скрипя пером, выведет корявые строки:

«ГОРЖЫБУС. Есть нужно даты так великыя деньги за вашы лица изрядные. Скажыте мне нечто мало что соделалысте сым господам, которых аз вам показывах и которых выжду выходящих з моего двора з так великым встыдом…»

Переводчик русского царя этими странными словами захочет передать слова вашего младенца из его комедии «Смешные драгоценные»:

«ГОРЖИБЮС. Вот уж действительно нужно тратить деньги на то, чтобы вымазать себе физиономию! Вы лучше скажите, что вы сделали этим господам, что они вышли от вас с таким холодным видом…»

В «Описании комедиям что каких есть в Государственном Посольском приказе мая по 30 число 1709 года» отмечены в числе других такие пьесы: шутовская «О докторе битом» (он же «Доктор принужденный») и другая – «Порода Геркулесова, в ней же первая персона Юпитер». Мы узнаем их. Первая – это «Лекарь поневоле» – комедия все того же вашего младенца. Вторая – «Амфитрион» – его же. Тот самый «Амфитрион», который в 1668 году будет разыгран сьёром де Мольером и его комедиантами в Париже в присутствии Петра Иванова Потемкина, посланника царя Алексея Михайловича.

Итак, вы видите, что русские узнают о том человеке, которого вы принимаете, уже в этом столетии.

О связь времен! О токи просвещения! Слова ребенка переведут на немецкий язык, переведут на английский, на итальянский, на испанский, на голландский. На датский, португальский, польский, турецкий, русский…

– Возможно ли это, сударь!

– Не перебивайте меня, сударыня! На греческий! На новый греческий, я хочу сказать. Но и на греческий древний. На венгерский, румынский, чешский, шведский, армянский, арабский!

– Сударь, вы поражаете меня!

– О, в этом еще мало удивительного. Я мог бы назвать вам десятки писателей, переведенных на иностранные языки, в то время как они не заслуживают даже того, чтоб их печатали на их родном языке. Но этого не только переведут, о нем самом начнут сочинять пьесы, и одни ваши соотечественники напишут их десятки. Такие пьесы будут писать и итальянцы, а среди них Карло Гольдони, который, как говорили, и сам-то родился при аплодисментах муз, и русские.

Не только в вашей стране, но и в других странах будут сочинять подражания его пьесам и писать переделки этих пьес. Ученые различных стран напишут подробные исследования его произведений и шаг за шагом постараются проследить его таинственную жизнь. Они докажут вам, что этот человек, который сейчас у вас в руках подает лишь слабые признаки жизни, будет влиять на многих писателей будущих столетий, в том числе на таких – неизвестных вам, но известных мне, – как соотечественники мои Грибоедов, Пушкин и Гоголь.

Вы правы: из огня тот выйдет невредим,

Кто с вами день пробыть успеет,

Подышит воздухом одним,

И в нем рассудок уцелеет.

Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок.

Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,

Где оскорбленному есть чувству уголок!

Это строчки из финала пьесы моего соотечественника Грибоедова «Горе от ума».

А я, быв жертвою коварства и измены,

Оставлю навсегда те пагубные стены,

Ту бездну адскую, где царствует разврат,

Где ближний ближнему – враг лютый, а не брат!

Пойду искать угла в краю отсель далеком,

Где можно как-нибудь быть честным человеком!

А это строчки из финала пьесы этого самого Поклена «Мизантроп», переведенной в 1816 году русским автором Федором Кокошкиным.

Есть сходство между этими финалами? Ах, мой бог! Я не знаток, пусть в этом разбираются ученые! Они расскажут вам о том, насколько грибоедовский Чацкий похож на Альцеста-Мизантропа, и о том, почему Карло Гольдони считают учеником этого самого Поклена, и о том, как подросток Пушкин подражал этому Поклену, и много других умных и интересных вещей. Я во всем этом плохо разбираюсь.

Другое занимает меня: пьесы моего героя будут играть в течение трех столетий на всех сценах мира, и неизвестно, когда перестанут играть. Вот что для меня интересно! Вот какой человек разовьется из этого младенца!

Да, я хотел сказать о пьесах. Весьма почтенная дама, госпожа Аврора Дюдеван, впрочем, более известная под именем Жорж Санд, будет в числе тех, кто напишет пьесу о моем герое.

В финале этой пьесы Мольер, поднимаясь, скажет:

– Да, я хочу умереть дома… Я хочу благословить свою дочь.

И принц Конде, подойдя к нему, подаст реплику:

– Обопритесь о меня, Мольер!

Актер же Дюпарк, которого ко времени смерти Мольера, кстати сказать, не будет на свете, рыдая, воскликнет:

– О, потерять единственного человека, которого я когда-либо любил!

Дамы пишут трогательно, с этим ничего уж не поделаешь! Но ты, мой бедный и окровавленный мастер! Ты нигде не хотел умирать – ни дома и ни вне дома. Да и вряд ли, когда у тебя изо рта хлынула рекою кровь, ты изъявлял желание благословить свою мало кому интересную дочь Мадлену!

Кто пишет трогательнее, чем дамы? Разве что иные мужчины: русский автор Владимир Рафаилович Зотов даст не менее чувствительный финал.

– Король идет. Он хочет видеть Мольера. Мольер! Что с ним?

– Умер.

И принц, побежав навстречу Людовику, воскликнет:

– Государь! Мольер умер!

И Людовик XIV, сняв шляпу, скажет:

– Мольер бессмертен!

Что можно возразить против последних слов? Да, действительно, человек, который живет уже четвертое столетие, несомненно, бессмертен. Но весь вопрос в том: признавал ли это король?

В опере «Аретуза», сочиненной господином Камбре, было возвещено так:

– Боги правят небом, а Людовик – землей!

Тот, кто правил землей, шляпы ни перед кем никогда, кроме как перед дамами, не снимал и к умирающему Мольеру не пришел бы. И он действительно не пришел, как не пришел и никакой принц. Тот, кто правил землей, считал бессмертным себя, но в этом, я полагаю, ошибался. Он был смертен, как и все, а следовательно – слеп. Не будь он слепым, он, может быть, и пришел бы к умирающему, потому что в будущем увидел бы интересные вещи и, возможно, пожелал бы приобщиться к действительному бессмертию.

Он увидел бы в том месте теперешнего Парижа, где под острым углом сходятся улицы Ришелье, Терезы и Мольера, неподвижно сидящего между колоннами человека. Ниже этого человека – две светлого мрамора женщины со свитками в руках. Еще ниже их – львиные головы, а под ними – высохшая чаша фонтана.

Вот он – лукавый и обольстительный галл, королевский комедиант и драматург! Вот он – в бронзовом парике и с бронзовыми бантами на башмаках! Вот он – король французской драматургии!

Ах, госпожа моя! Что вы толкуете мне о каких-то знатных младенцах, которых вы держали когда-то в руках! Поймите, что этот ребенок, которого вы принимаете сейчас в покленовском доме, есть не кто иной, как господин Мольер! Ага! Вы поняли меня? Так будьте же осторожны, прошу вас! Скажите, он вскрикнул? Он дышит? Он живет!

Глава 1

В обезьяньем доме

Итак, 13 примерно января 1622 года в Париже у господина Жана Батиста Поклена и его супруги Марии Поклен-Крессе появился хилый первенец. 15 января его окрестили в церкви Святого Евстафия и назвали в честь отца Жаном Батистом. Соседи поздравили Поклена, и в цехе обойщиков стало известно, что родился на свет еще один обойщик и торговец мебелью.

У каждого архитектора есть своя фантазия. На углах приятного трехэтажного дома с острой двухскатной крышей, стоявшего на углу улиц Святого Гонория и Старых бань, строитель XV века поместил скульптурные деревянные изображения апельсиновых деревьев с аккуратно подрезанными ветвями. По этим деревьям цепью тянулись маленькие обезьянки, срывающие плоды. Само собой разумеется, что дом получил у парижан кличку обезьяньего дома. И дорого обошлись впоследствии комедианту де Мольеру эти мартышки! Не раз доброжелатели говорили о том, что ничего удивительного нет в карьере старшего сына почтенного Поклена, сына, ставшего гороховым шутом. Чего же и требовать от человека, выросшего в компании гримасниц-обезьян? Однако в

будущем комедиант не отрекся от своих обезьян и на склоне жизни уже, проектируя свой герб, который неизвестно зачем ему понадобился, изобразил в нем своих хвостатых приятельниц, карауливших отчий дом.

Дом этот находился в шумнейшем торговом квартале в центре Парижа, недалеко от Нового Моста. Домом этим владел и в доме этом жил и торговал придворный обойщик и драпировщик Жан Батист-отец.

С течением времени обойщик добился еще одного звания – камердинера его величества короля Франции. И это звание не только с честью носил, но и наследственно закрепил за своим старшим сыном Жаном Батистом.

Ходил слушок, что Жан Батист-отец, помимо торговли креслами и обоями, занимался и отдачею денег взаймы за приличные проценты. Не вижу в этом ничего предосудительного для коммерческого человека. Но злые языки утверждали, что Поклен-отец несколько пересаливал в смысле процентов и что будто бы драматург Мольер, когда описывал противного скрягу Гарпагона, вывел в нем своего родного отца. Гарпагон же этот был тот самый, который одному из своих клиентов пытался в счет денег всучить всякую рухлядь, в том числе набитое сеном чучело крокодила, которое, по мнению Гарпагона, можно было привесить к потолку в виде украшения.

Не хочу я верить этим пустым россказням! Драматург Мольер не порочил памяти своего отца, и я не намерен ее порочить.

Поклен-отец был настоящим коммерсантом, видным и уважаемым представителем своего почтенного цеха. Он торговал, и над входом в обезьянью лавку развевался честный флаг с изображением все той же обезьяны.

В темноватом первом этаже, в лавке, пахло краской и шерстью, в кассе звякали монеты, и целый день сюда стремился народ, чтобы выбирать ковры и обои. И шли к Поклену-отцу и буржуа и аристократы. В мастерской же, окнами выходившей на двор, столбами стояла жирная пыль, были нагромождены стулья, валялись куски фурнитурного дерева, обрезки кожи и материи, и в этом хаосе возились, стучали молотками, кроили ножницами покленовские мастера и подмастерья.

В комнатах второго этажа, выше флага, царствовала мать. Там слышалось ее постоянное покашливанье и шум ее гроденаплевых юбок. Мария Поклен была состоятельной женщиной. В шкафах ее лежали дорогие платья и куски флорентийских материй, белье из тончайшего полотна, в комодах хранились колье, браслеты с алмазами, жемчуга, перстни с изумрудами, золотые часы и дорогое столовое серебро. Молясь, Мария перебирала перламутровые четки. Она читала Библию и даже, чему я мало верю, греческого автора Плутарха в сокращенном переводе. Она была тиха, любезна и образованна. Большинство ее предков были обойщики, но попадались среди них и люди других профессий, например музыканты и адвокаты.

Так вот, в верхних комнатах обезьяньего дома расхаживал белокурый толстогубый мальчик. Это и был старший сын Жан Батист. Иногда он спускался в лавку и в мастерские и мешал подмастерьям работать, расспрашивая их о разных разностях. Мастера подсмеивались над его заиканием, но любили его. По временам он сидел у окна и глядел, подперев щеки кулаками, на грязную улицу, по которой сновал народ.

Мать однажды, проходя мимо него, похлопала его по спине и сказала:

– Эх ты, созерцатель!..

И созерцателя в один прекрасный день отдали в приходскую школу.

В приходской школе он выучился именно тому, чему можно выучиться в такой школе, то есть овладел первыми четырьмя правилами арифметики, стал свободно читать, усвоил начатки латыни и познакомился со многими интересными фактами, изложенными в «Житиях святых».

Так дела и шли, мирно и хорошо. Поклен-отец богател, детей родилось уже четверо, как вдруг в обезьяний дом пришла беда.

Весною 1632 года нежная мать захворала. Глаза у нее стали блестящие и тревожные. В один месяц она исхудала так, что ее трудно было узнать, и на бледных ее щеках расцвели нехорошие пятна.

Затем она стала кашлять кровью, и в обезьяний дом начали приезжать верхом на мулах, в зловещих колпаках врачи. 15 мая пухлый созерцатель плакал

навзрыд, вытирал грязными кулаками слезы, и весь дом рыдал вместе с ним.

Тихая Мария Поклен лежала неподвижно со скрещенными на груди руками.

Когда ее похоронили, в доме настали как бы непрерывные сумерки. Отец впал в тоску и рассеянность, и первенец его несколько раз видел, как в летние вечера отец сидел один в сумерках и плакал.

Созерцатель от этого расстраивался и слонялся по квартире, не зная, чем бы ему заняться. Но потом отец плакать перестал и зачастил в гости в некую семью Флёретт. Тут одиннадцатилетнему Жану Батисту объявили, что у него будет новая мама. И вскоре Екатерина Флёретт, новая мама, появилась в обезьяньем доме.

Тут, впрочем, обезьяний дом семейство покинуло, потому что отец купил другой дом.

Глава 2

История двух театралов

Новый дом был расположен уже на самом Рынке, в том районе, где происходила знаменитая Сен-Жерменская ярмарка. И на новом месте предприимчивый Поклен с еще большим блеском развернул все приманки своей лавки. В прежнем доме хозяйничала и рожала детей Мария Крессе, в новом ее сменила Екатерина Флёретт. Что можно сказать об этой женщине? По-моему, ничего – ни дурного и ни хорошего. Но потому, что она вошла в семью с кличкой мачехи, многие из тех, кто интересовался жизнью моего героя, стали утверждать, что Жану Батисту-малому плохо жилось при Екатерине Флёретт, что она была злой мачехой и что именно ее, под именем Белины, вероломной жены, Мольер изобразил в комедии «Мнимый больной».

По-моему, все это неверно. Нет никаких доказательств, что Екатерина обижала Жана Батиста, и тем более нет никаких, что она – это Белина. Екатерина Флёретт была незлой второй женой, исполнившей свое назначение на земле: она

родила Поклену через год после свадьбы дочку Екатерину, а еще через два – Маргариту.

Итак, Жан Батист проходил курс приходской школы и, наконец, его закончил. Поклен-отец решил, что первенец его достаточно расширил свой кругозор, и велел ему присматриваться к делу в лавке. Тут Жан Батист стал мерить материи, приколачивать что-то гвоздиками, точить лясы с подмастерьями, а в свободное время читать замасленную книжку Плутарха, оставшуюся от Марии Крессе.

И вот тут, при свете моих свечей, в открывшейся двери появляется передо мной в скромном, но солидном кафтане, в парике и с тростью в руке очень оживленный для своих лет господин буржуазного вида, с живыми глазами и приличными манерами. Имя его – Луи, фамилия – Крессе, он покойной Марии родной отец, следовательно, Жану-малому он дед.

По профессии господин Крессе был обойщиком, так же как и его зять. Но только Крессе был не придворным обойщиком, а частным, и торговал он на Сен-Жерменской ярмарке. Проживал Крессе в Сент-Уане под Парижем, где владел прекрасным домом со всеми угодьями. По воскресным дням семейство Покленов обычно отправлялось в Сент-Уан к деду гостить, причем у покленовских ребятишек от этих посещений оставались приятные воспоминания.

Так вот, этот самый дед Крессе свел удивительную дружбу с Жаном Батистом-малым. Что могло связать старика с мальчишкой? Разве что черт? Да, пожалуй, именно он! Общая страсть, однако, недолго была секретом для Поклена-отца и вскорости вызвала его хмурое удивление. Оказалось, что дед и внук без памяти любят театр!

В свободные вечера, когда дед бывал в Париже, оба обойщика, и старый и малый, сговорившись и таинственно переглянувшись, уходили из дому. Проследить их путь было не трудно. Обычно они направлялись на угол улиц Моконсейль и Французской, где в низком и мрачном зале Бургонского Отеля играла королевская труппа актеров. У почтенного деда Крессе были прочные знакомства среди старшин некоего общества, объединенного религиозными, но также и коммерческими целями. Общество это носило название Братства страстей господних и владело привилегией представлять в Париже мистерии. Братство именно и построило Бургонский Отель, но в то время, когда Жан Батист был мальчиком, мистерий уже не представляло, а сдавало Отель

различным труппам.

Итак, дед Крессе отправлялся к старшине братства, и уважаемому обойщику и его внуку предоставляли бесплатные места в одной из свободных лож.

В театре Бургонского Отеля, премьером в котором был в то время известнейший актер Бельроз, играли трагедии, трагикомедии, пасторали и фарсы, причем виднейшим драматургом Отеля считался Жан де Ротру, большой любитель испанских драматургических образцов. Деду Крессе Бельроз своей игрой доставлял величайшее наслаждение, и внук вместе с дедом аплодировал Бельрозу. Но внуку гораздо больше тех трагедий, в которых выступал Бельроз, нравились бургонские фарсы, грубые и легкие фарсы, заимствованные большею частью у итальянцев и нашедшие в Париже прекрасных исполнителей, вольно жонглировавших злободневным текстом в своих смешных ролях.

Да, показал дед Крессе, на горе Поклену-отцу, его сыну ход в Бургонский Отель! И вот вместе с дедом, когда Жан Батист был мальчишкой, и позже, вместе с товарищами, когда Жан Батист стал юношей, он успел пересмотреть в Отеле замечательные вещи.

Знаменитый Гро-Гильом, выступавший в фарсах, поражал Жана Батиста своим красным плоскодонным беретом и белой курткой, обтягивающей чудовищный живот. Другая знаменитость, фарсёр Готье-Гаргюиль, одетый в черный камзол, но с красными рукавами, вооруженный громадными очками и с палкой в руках, не хуже Гро-Гильома укладывал в лоск бургонскую публику. Поражали Жана Батиста и Тюрлюпен, неистощимый в выдумках трюков, и Ализон, играющий роли смешных старух.

В глазах у Жана Батиста в течение нескольких лет, вертясь как в карусели, пролетели вымазанные мукой и краской или замаскированные педанты доктора, скупые старики, хвастливые и трусливые капитаны. Под хохот публики легкомысленные жены обманывали ворчливых дураков-мужей и фарсовые сводницы-кумушки тарахтели как сороки. Хитрые, легкие как пух слуги водили за нос стариков Горжибюсов, старых хрычей били палками и запихивали в мешки. И стены Бургонского Отеля тряслись от хохота французов. Посмотрев все, что можно было посмотреть в Бургонском Отеле, одержимые страстью обойщики перекочевывали в другой большой театр – Театр на Болоте. Здесь царила трагедия, в которой отличался знаменитый актер Мондори, и высокая комедия, лучшие образцы которой предоставил театру знаменитый драматург

того времени Пьер Корнель.

Внука Людовика Крессе как бы окунали в разные воды: бургонский разукрашенный, как индийский петух, Бельроз был слащав и нежен. Он закатывал глаза, потом устремлял их в неизвестные дали, плавно взмахивал шляпой и читал монологи подвывающим голосом, так что нельзя было разобрать, говорит он или поет. А там, на Болоте, Мондори потрясал громовым голосом зал и с хрипением умирал в трагедии.

Мальчишка возвращался в дом отца с лихорадочным блеском в глазах и по ночам видел во сне буффонов Ализонов, Жакменов-Жадо, Филипенов и знаменитого Жодле с выбеленным лицом.

Увы! Бургонский Отель и Болото далеко не исчерпывали всех возможностей для тех, кто болен не излечимой никогда страстью к театру.

У Нового Моста и в районе Рынка вширь и мах шла торговля. Париж от нее тучнел, хорошел и лез во все стороны.

В лавках и перед лавками бурлила такая жизнь, что звенело в ушах, в глазах рябило. А там, где Сен-Жерменская ярмарка раскидывала свои шатры, происходило настоящее столпотворение. Гам! Грохот! А грязи, грязи!..

– Боже мой! Боже мой! – говорил однажды про эту ярмарку калека-поэт Скаррон. – Сколько грязи навалят всюду эти зады, незнакомые с кальсонами!

Целый день идут, идут, толкутся! И мещане и красотки-мещаночки! В цирульнях бреют, мылят, дергают зубы. В человеческом месиве среди пеших видны конные. На мулах проезжают важные, похожие на ворон врачи. Гарцуют королевские мушкетеры с золотыми стрелами девизов на ментиках[1 - Ментик – короткая куртка, опушенная мехом.]. Столица мира, ешь, пей, торгуй, расти! Эй, вы, зады, незнакомые с кальсонами, сюда, к Новому Мосту! Глядите, вон сооружают балаганы, увешивают их коврами. Кто там пищит, как дудка? Это глашатай. Не опоздайте, господа, сейчас начнется представление! Не пропустите случая! Только у нас и больше нигде вы увидите замечательных марионеток господина Бриоше! Вон они качаются на помосте, подвешенные на нитках! Вы увидите гениальную ученую обезьяну Фаготена!

У Нового Моста в балаганах расположились уличные врачи, зубодеры, мозольные операторы и аптекари-шарлатаны. Они продавали народу панацеи – средства от всех болезней, а для того, чтобы на их лавки обращали внимание, они входили в соглашение с уличными бродячими актерами, а иногда и с актерами, обосновавшимися в театрах, и те давали целые представления, восхваляя чудодейственные шарлатанские средства.

Происходили торжественные процессии, на конях ехали разукрашенные, разодетые, облепившие себя сомнительными, взятыми напрокат ценностями комедианты, они выкрикивали рекламы, сзывали народ. Мальчишки стаями шли за ними, свистели, ныряли под ногами и этим увеличивали сутолоку.

Греми, Новый Мост! Я слышу, как в твоем шуме рождается от отца-шарлатана и матери-актрисы французская комедия, она пронзительно кричит, и грубое ее лицо обсыпано мукой!

Вот на весь Париж зашумел таинственнейший и замечательный человек, некий Кристоф Контуджи. Он нанял целую труппу и развернул спектакли в балагане с полишинелями[2 - Полишинель – персонаж французского народного театра.] и при их помощи стал торговать лекарственной всеисцеляющей кашкой, получившей названье «орвьетан».

Обойди кругом все царство,

Лучше не найдешь лекарства!

Орвьетан, орвьетан!

Покупайте орвьетан!

Буффоны в масках охрипшими в гвалте голосами клялись, что нет на свете такой болезни, при которой не помог бы волшебный орвьетан. Он спасает от чахотки, от чумы и от чесотки!

Мимо балагана едет мушкетер. Его кровный жеребец косит кровавым глазом, роняет пену с мундштука. Незнакомые с кальсонами режут дорогу, жмутся к седлу с пистолетами. В балагане у Контуджи завывают голоса:

Господин капитан,

Покупайте орвьетан!

– Чума вас возьми! С дороги! – кричит гвардеец.

– Позвольте мне коробочку орвьетана, – говорит некий соблазнившийся Сганарель, – сколько она стоит?

– Сударь, – отвечает шарлатан, – орвьетан – такая вещь, что ей цены нету! Я стесняюсь брать с вас деньги, сударь!

– О сударь, – отвечает Сганарель, – я понимаю, что всего золота в Париже не хватит, чтобы заплатить за эту коробочку. Но и я стесняюсь что-нибудь брать даром. Так вот, извольте получить тридцать су и пожалуйте сдачи.

Над Парижем темно-синий вечер, зажигаются огни. В балаганах горят дымные крестообразные паникадила, в них тают сальные свечи, факелы завивают хвосты.

Сганарель спешит домой, на улицу Сен-Дени. Его рвут за полы, приглашают купить противоядие от всех ядов, какие есть на свете.

Греми, Мост!

И вот в людском месиве пробираются двое: почтенный дед со своим приятелем-подростком в плоеном[3 - Плоеный – складчатый, сборчатый.] воротнике. И никто не знает, и актеры на подмостках не подозревают, кого тискают в толпе у балагана шарлатана. Жодле в Бургонском Отеле не знает, что настанет день, когда он будет играть в труппе у этого мальчишки. Пьер Корнель не знает, что на склоне лет он будет рад, когда мальчишка примет к постановке его пьесу и заплатит ему, постепенно беднеющему драматургу, деньги за эту пьесу.

– А не посмотрим ли мы еще и следующий балаган? – умильно и вежливо спрашивает внук.

Дед колеблется – поздно. Но не выдерживает:

– Ну, так и быть, пойдем.

В следующем балагане актер показывает фокусы со шляпой: он вертит ее, складывает ее необыкновенным образом, мнет, швыряет в воздух…

И Мост уже в огнях, по всему городу плывут фонари в руках прохожих, и в ушах еще стоит пронзительный крик: орвьетан!

И очень возможно, что вечером на улице Сен-Дени разыгрывается финал одной из будущих комедий Мольера. Пока этот самый Сганарель или Горжибюс ходил за орвьетаном, которым он надеялся излечить свою дочку Люсинду от любви к Клитандру или Клеонту, – Люсинда, натурально, бежала с этим Клитандром и обвенчалась!

Горжибюс бушует. Его надули! Его взнуздали, как бекаса! Он швыряет в зубы служанке проклятый орвьетан! Он угрожает!

Но появятся веселые скрипки, затанцует слуга Шампань, Сганарель примирится со случившимся. И Мольер напишет счастливый вечерний конец с фонарями.

Греми, Мост!

Глава 3

Не дать ли деду орвьетану?

В один из вечеров Крессе и внук вернулись домой возбужденные и, как обычно, несколько таинственные. Отец Поклен отдыхал в кресле после трудового дня. Он осведомился, куда дед водил своего любимца. Ну, конечно, они были в Бургонском Отеле на спектакле.

– Что это вы так зачастили с ним в театр? – спросил Поклен. – Уж не собираетесь ли вы сделать из него комедианта?

Дед положил шляпу, пристроил в угол трость, помолчал и сказал:

– А дай Бог, чтобы он стал таким актером, как Бельроз.

Придворный обойщик открыл рот. Помолчал, потом осведомился, серьезно ли говорит дед. Но так как Крессе молчал, то Поклен сам развил эту тему, но в тонах иронических.

Если, по мнению Людовика Крессе, можно желать стать похожим на комедианта Бельроза, то почему же не пойти и дальше? Можно двинуться по стопам Ализона, который кривляется на сцене, изображая для потехи горожан смешных старух торговок. Отчего бы не вымазать физиономию какой-то белой дрянью и не нацепить чудовищные усы, как это делает Жодле?

Вообще можно начать валять дурака, вместо того чтобы заниматься делом. Что ж, горожане за это платят по пятнадцать су с персоны!

Вот уж воистину чудесная карьера для старшего сына придворного обойщика, которого знает, слава Богу, весь Париж! Вот бы порадовались соседи, если бы Батист-младший, господин Поклен, за которым закрепляется звание королевского лакея, оказался бы на подмостках! В цехе обойщиков надорвали бы животики!

– Простите, – сказал Крессе мягко, – по-вашему, выходит, что театр не должен существовать?

Но выяснилось, что из слов Поклена этого не выходит. Театр должен существовать. Это признает даже его величество, да продлит Господь его дни. Бургонской труппе пожаловано звание королевской. Все это очень хорошо. Он сам, Поклен, пойдет с удовольствием в воскресенье в театр. Но он бы выразился так: театр существует для Жана Батиста Поклена, а никак не наоборот.

Поклен жевал поджаренный хлеб, запивал его винцом и громил деда.

Можно пойти и дальше. Если нельзя устроиться в труппе его величества – ведь не каждый же, господа, Бельроз, у которого, говорят, одних костюмов на двадцать тысяч ливров, – то отчего же не пойти играть на ярмарке? Можно изрыгать непристойнейшие шуточки, делать двусмысленные жесты, отчего же, отчего же?.. Вся улица будет тыкать пальцами!

– Виноват, я шучу, – сказал Поклен, – но ведь шутили, конечно, и вы?

Но неизвестно, шутил ли дед, точно так же как неизвестно, что думал во время отцовских монологов малый Жан Батист.

«Странные люди эти Крессе! – ворочаясь в темноте на постели, думал придворный обойщик. – Сказать при мальчишке такую вещь! Неудобно только, а следовало бы деду ответить, что это глупые шутки!»

Не спится. Придворный драпировщик и камердинер смотрит во тьму. Ах, все они, Крессе, такие! И покойница, первая жена, была с какими-то фантазиями и тоже обожала театр. Но этому старому черту шестьдесят лет! Честное слово, смешно! Ему орвьетан надо принимать, он скоро в детство впадет!

Забота. Лавка. Бессонница…

Глава 4

Не всякому нравится быть обойщиком

А мне все-таки жаль бедного Поклена! Что же это за напасть в самом деле! В ноябре 1636 года померла и вторая жена его. Отец опять сидит в сумерках и тоскует. Он станет теперь совсем одинок. А у него теперь шестеро детей. И лавка на руках, поднимай на ноги всю ораву. Один, всегда один. Не в третий же раз жениться…

И как на горе, в то же время, когда умерла Екатерина Флёретт, что-то сделалось с первенцем Жаном Батистом. Пятнадцатилетний малый захирел. Он продолжал работать в лавке, жаловаться нельзя: он не лодырничал. Но поворачивался, как марионетка, прости Господи, у Нового Моста! Исхудал, засел у окна, стал глядеть на улицу, хоть на ней ничего и нет, ни нового, ни интересного, стал есть без всякого аппетита…

Наконец назрел разговор.

– Рассказывай, что с тобой, – сказал отец и прибавил глухо, – уж не заболел ли ты?

Батист уперся глазами в тупоносые свои башмаки и молчал.

– Тоска мне с вами, – сказал бедный вдовец. – Что мне делать с вами, детьми? Ты не томи меня, а… рассказывай.

Тут Батист перевел глаза на отца, а затем на окно и сказал:

– Я не хочу быть обойщиком.

Потом подумал и, очевидно решившись развязать сразу этот узел, добавил:

– Чувствую глубокое отвращение.

Еще подумал и еще добавил:

– Ненавижу лавку.

И чтобы совсем доконать отца, еще добавил:

– Всем сердцем и душой!

После чего и замолчал.

Вид у него при этом сделался глупый. Он, собственно, не знал, что последует за этим. Возможна, конечно, плюха от отца. Но плюхи он не получил.

Произошла длиннейшая пауза. Что может помочь в таком казусном деле? Плюха? Нет, плюхой здесь ничего не сделаешь. Что сказать сыну? Что он глуп? Да, он стоит, как тумба, и лицо у него тупое в этот момент. Но глаза как будто не глупые и блестящие, как у Марии Крессе.

Лавка не нравится? Быть может, это ему только кажется? Он еще мальчик, в его годы нельзя рассуждать о том, что нравится, а что не нравится. Он просто,

может быть, немножко устал? Но ведь он-то, отец, еще больше устал и у него-то ведь помощи нет никакой, он поседел в заботах…

– Чего же ты хочешь? – спросил отец.

– Учиться, – ответил Батист.

В это мгновение кто-то нежно постучал тростью в дверь, и в сумерках вошел Луи Крессе.

– Вот, – сказал отец, указывая на плоеный воротничок, – извольте видеть, не желает помогать мне в лавке, а намерен учиться.

Дед заговорил вкрадчиво и мягко. Он сказал, что все устроится по-хорошему. Если юноша тоскует, то надо, конечно, принять меры.

– Какие же меры? – спросил отец.

– А, в самом деле, отдать его учиться! – светло воскликнул дед.

– Но позвольте, он же учился в приходской школе!

– Ну, что такое приходская школа! – сказал дед. – У мальчугана огромные способности…

– Выйди, Жан Батист, из комнаты, я поговорю с дедушкой.

Жан Батист вышел. И между Крессе и Покленом произошел серьезнейший разговор.

Передавать его не стану. Воскликну лишь: о светлой памяти Людовик Крессе!

Глава 5

Для вящей славы Божией

Знаменитый парижский Клермонский коллеж, впоследствии Лицей Людовика Великого, действительно нисколько не напоминал приходскую школу. Коллеж находился в ведении членов могущественного ордена Иисуса, и отцы-иезуиты поставили в нем дело, надо сказать, прямо блестяще – «для вящей славы Божией», – как все, что они делали.

В коллеже, руководимом ректором, отцом Жакобусом Дине, обучалось до двух тысяч мальчиков и юношей, дворян и буржуа, из которых триста были интернами, а остальные – приходящими. Орден Иисуса обучал цвет Франции.

Отцы-профессора читали клермонцам курсы истории, древней литературы, юридических наук, химии и физики, богословия и философии и преподавали греческий язык. О латинском даже упоминать не стоит: клермонские лицеисты не только непрерывно читали и изучали латинских авторов, но обязаны были в часы перемен между уроками разговаривать на латинском языке. Вы сами понимаете, что при этих условиях можно овладеть этим фундаментальным для человечества языком.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Ментик – короткая куртка, опушенная мехом.

2

Полишинель – персонаж французского народного театра.

3

Плоеный – складчатый, сборчатый.

Купить: https://tellnovel.com/mihail-bulgakov/zhizn-gospodina-de-mol-era

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити